

доктор социологических наук, профессор кафедры политологии, социологии и социальной работы НТУУ “КПИ”, заместитель директора по научной работе МОНмолодежспорта Государственного института семейной и молодежной политики

Социальная реальность и трансформации XX века: между концепциями и утопиями¹

Аннотация

В статье обсуждаются факторы затмения разума и искаженного восприятия социальной реальности. Аргументация статьи базируется на нескольких типичных примерах. Я сосредоточусь на трактовке И.Валлерстайном советской вовлеченности в события революции в Китае. Традиционные толкования этих событий по версии ученых левой ориентации обвиняют Сталина в том, что он действовал как марионетка США и не хотел поддерживать китайских революционеров-коммунистов. Недавно открытые для общественности документы проливают новый свет на эти события. Принятая в левой среде точка зрения изображает Сталина как деятеля, полностью зависящего от американской гегемонии, а значит, настроенного на предупреждение истинно революционных волнений. Новые данные демонстрируют, что способ взаимодействия Сталин и Мао вписывается в модель взаимодействия клиент–патрон. СССР обеспечил Мао скрытую, но существенную поддержку. При отсутствии такой поддержки победа китайских коммунистов была бы невозможна. Таким образом, Валлерстайнов конструкт утрачивает черты концепции и превращается в идеологически нагруженную утопию. Еще одним примером идеологически нагруженного столкновения социологических парадигм является способ взаимодействия теорий зависимости и модернизации. Обе традиции смотрели на социальную реальность сквозь идеологические очки, а потому не могли заметить возможностей для взаимопроникновения этих двух парадигм. Статья утверждает, что путем выхода из идеологического тупика является возрождение Маккиавеллиево–Веберовой идеи трезвой рассудительности в сочетании с критичным отношением к социальной реальности в духе И.Селеньи.

¹ Статья подготовлена на основе выступления на V Международных социологических чтениях памяти Н.В.Паниной 10 декабря 2011 года.

Ключевые слова: идеология, социальная реальность, академический дискурс, разум

Для меня всегда большая честь участвовать в Международных социологических чтениях памяти Наталии Паниной. Полагаю, по своей интеллектуальной и эмоциональной насыщенности эти чтения являются центральным событием социологической жизни в Украине. Тема этого года — “Социальная реальность: фантазии и знание” — касается вопросов, от которых зависит само существование социологии как академической дисциплины. Очевидно, что если определенная дисциплина способна на продуцирование одних лишь фантазий / мифов / утопий относительно своего предмета, то ее претензии на научный статус нелегитимны.

В своем выступлении я предпринял попытку — в несколько импрессионистской манере — рассмотреть эволюцию взаимодействия между концепциями (то есть научным знанием) и утопическим восприятием социальной реальности, нередко находящимся под влиянием идеологии.

Начну с яркого примера переплетения знания о социальной реальности и фантазий о ней. Таким красноречивым примером служит интерпретация И.Валлерстайном событий в Китае в конце 1940-х годов и роли в них СССР. Валлерстайн — подобно многим мыслителям левой идеологической ориентации — с ритуальной регулярностью повторяет тезис об интегрированности СССР в систему американской гегемонии и, отсюда, противопоставляет революционному порыву китайских народных масс ориентацию консервативно настроенного сталинского правительства на удовлетворение интересов США. Такая ориентация якобы привела к блокированию советским режимом истинных автохтонных освободительных движений, которые зародились в странах третьего мира. Именно к такому выводу пришел еще один исследователь левого направления — Э.Гобсбаум (напомню, что собственно история является специальностью прославленного ученого): “Где коммунистические революции все же осуществились (Югославия, Албания, позже Китай), произошло это вопреки совету Сталина” [Гобсбаум, 2001: с. 156]. Ему вторит Валлерстайн: китайские коммунисты “осуществили бросок на Шанхай *вразрез с желаниями Сталина* (курс. мой. — П.К.). В США правые утверждали, что Америка потеряла Китай, но в действительности страной, утратившей Китай, был Советский Союз...” [Wallerstein, 2002: р. XXXV].

Все эти заявления сделаны уже после падения СССР, то есть тогда, когда у исследователей появились беспрецедентные возможности использовать ранее недоступные архивные материалы. Как Гобсбаум в цитируемой книге, изданной на английском языке в 1994 году, так и Валлерстайн в более свежих работах продолжают свою прежнюю линию и не предпринимают никаких попыток учесть документальные свидетельства, в пух и прах разбивающие их идеологические построения.

А.Ледовский, состоявший на советской дипломатической службе в Китае в послевоенные годы, проливает свет на взаимоотношения между двумя коммунистическими партиями в этот период. Согласно его свидетельству, несмотря на подписанный 14 августа 1945 года договор о дружбе и союзе между СССР и чанкайшистским Китаем, который, в конечном счете, был

полноценным членом союзнической коалиции в войне против Японии, советское правительство взяло курс на передачу освобожденной от японских войск Маньчжурии не гоминьдановцам, а коммунистам. Блокируя попытки гоминьдановцев перебросить свои войска в Маньчжурию (запретив использование Китайской восточной железной дороги и портов Порт-Артура и Дальнего), Советская Армия способствовала передислокации коммунистических сил в этом регионе и помогла создать на основе контингента Народно-освободительной армии так называемую Объединенную демократическую армию (ОДА) численностью 1 млн человек. ОДА получила в свое распоряжение трофейное вооружение капитулировавшей японской армии, а также оружие немецкого, чехословацкого и советского производства. Для компартии Китая все это позволило ускорить развертывание вооруженной борьбы за захват власти в Маньчжурии, сделав ее главной опорной базой в боях за свержение гоминьдановской власти во всем Китае. Советское правительство действовало в лучших традициях *Realpolitik*, приоритетом которой было всяческое препятствование американскому проникновению в Маньчжурию, а следовательно, сотрудничество с Чан Кайши воспринималось как вполне приемлемая альтернатива. В то же время идеальные интересы советского ленинского режима побуждали его к защите компартии Китая, защите, которую Сталин в беседах с представителями гоминьдана маскировал фаталистическими оборотами в духе Лао Цзы, которые должны были оправдывать его бездействие на фоне бурной активности китайских ленинцев: “Если они (китайские коммунисты. — П.К.) обратятся к нам за советом, то мы им его дадим, а так — Бог его знает” [Ледовский, 1999: с. 19]. Таким образом, вопреки нежеланию сталинского руководства спровоцировать военное вмешательство США в китайские дела (нужно учитывать, что к тому времени США монопольно обладали ядерным оружием) и наличие “теоретических” расхождений между китайскими и советскими коммунистами, СССР был решительно настроен на защиту своих партнеров в Китае. “Мао Цзедун — своеобразный человек и своеобразный коммунист, — так высказался Сталин в адрес своего младшего коллеги. — Он ходит по деревням, избегает городов и не интересуется ими” (цит. по: [Ледовский, 1999: с. 30]).

Сам Великий кормчий оставил мало сомнений в патримониальной природе своих отношений со Сталиным, посылая в Ц ВКП(б) телеграммы следующего содержания: “По ряду вопросов необходимо лично *доложить* ЦК ВКП(б) и *главному* (курс. мой. — П.К.)” (цит. по: [Ледовский, 1999: с. 53]); телеграмма датирована 28 сентября 1948 года. Пренебрежение общей имперской составляющей революций в России и Китае [Arnason, 2003] и мифологизация “аутопиетической” крестьянской революции заставляют Валлерстайна подчеркивать роль несуществующих противоречий, одновременно обходя реальные конфликты общественной жизни.

Аналогично Валлерстайн интерпретирует любые изменения как данные в пользу своих конструкций либо игнорирует факты, не укладывающиеся в его схему: ради фиксации полумифической “органичной целостности” американский социолог жертвует концептуализацией частного.

Здесь речь идет именно о методологической односторонности Валлерстайна, которая становится слишком очевидной на фоне его способности мастерски интегрировать литературу по многочисленным обществоведче-

ским и гуманитарным дисциплинам, а также осуществлять нюансированный анализ общественных изменений в отдельных секторах мир-системы.

Вынужден констатировать, что пример Валлерстайновой трактовки китайских событий яркий, но далеко не единственный. Т. Парсонс — ученый с образцовой репутацией — был замечен Ч. Камиком в следовании идеологической конъюнктуре своего времени (речь идет о 1930-х годах), когда он не включил в свой социологический канон, выстроенный американским социологом-теоретиком в “Структуре социального действия”, экономистов-институционалистов, несмотря на близость их аргументации к его видению теории социального действия [Саміс, 1992].

Британо-американский социолог К. Кумар осуществляет весьма информативную и поучительную деконструкцию идеологически укорененных стереотипов в отношении национальной специфики той или иной социологической школы. Он дезавуирует знакомые нам из университетского учебника по истории социологии дистинкции между созерцательно-спекулятивной установкой немецких основателей социологии и практически-эмпирической ориентацией их английских коллег [Kumar, 2001]. Реинтерпретация общеизвестных первоисточников позволяет существенную коррекцию такой “наивной” установки в соответствии с национальными особенностями социологического теоретизирования. Оказывается, что немецкие социологи искали связь между “социальной наукой и социальной политикой” (симптоматично, что именно так назывался журнал, издававшийся при участии М. Вебера), тогда как легендарные британцы-эмпирики много внимания уделяли теоретической рефлексии.

Этот ряд примеров влияния Тацитовых “гнева и страсти” на социологический анализ можно продолжать еще долго, однако простое перечисление вмешательств, а порой и подмен концепции идеологией требует теоретического обобщения.

Для такой генерализации нам пригодится опыт полемики между А. Г. Франком времен теории зависимости и развития/недоразвития и первой стадией исследовательской программы модернизации.

Как Франк, так и представители первой стадии исследовательской программы модернизации продуцировали свои идеи в стиле конфликтного теоретизирования, что предполагало отрицание исследовательской программы оппонента. Это очень часто превращало академический дискурс в *идеологию*: либеральную в случае первой фазы исследовательской программы модернизации и леворадикальную (с социалистической окраской) в случае Франка и его последователей. Такие поляризация и идеологизация часто были не только результатом сознательного выбора индивидами “лагерей” холодной войны, но и следствием функционирования идеологии как социального феномена, продуцирующего значения и “идентифицирующего (или усложняющего) видение социальных категорий, стабилизирующего (или разрушающего) социальные ожидания, поддерживающего (или подрывающего) консенсус, облегчающего (или усиливающего) социальную напряженность” [Geertz, 1973: p. 202–203]. Не отрицая адекватности Гирцовой дефиниции, дающей основания рассматривать идеологию как культурную систему, а не только как отражение классовых интересов или искаженную картину объективного мира, замечу, что акцент Гирца на идеологии как механизме продуцирования значений лишает его видение “культурной сис-

темы” историчности и изолирует ее от влияния структур господства. Таким образом, идеология как способ академического дискурса хоть и не всегда выполняла роль оружия в этой *guerre de plume*, если воспользоваться выражением Гирца, она зачастую способствовала выработке антагонистического стиля мышления со стороны основных участников глобального столкновения эпохи холодной войны: ленинизма и либерализма. Характерным для обоих “лагерей” было восприятие третьего мира не в качестве равноправного “игрока” и партнера, а исключительно как пространства, где конфликтный потенциал сверхдержав, который в первом мире эффективно сдерживался действием доктрины ядерного МАД (*mutually assured destruction*), переходил из латентной стадии в явную. Будучи традиционным, то есть еще немодернизированным с точки зрения мира первого, или докапиталистическим, а значит, не всегда готовым к социалистическому выбору с точки зрения “Московского центра”, третьему миру оставалось пассивно соблюдать предписания, поступавшие от западных или восточных патронов, и удовлетворять их потребности в природных ресурсах. Например, решение США после окончания Второй мировой войны поддержать Британию и Францию в их борьбе за сохранение колониальных империй поддается логичной интерпретации в рамках теории зависимости Франка: американские лидеры надеялись, что экспорт природных ресурсов из колоний поможет Британии рассчитаться с долгами, накопленными во время войны, а экономическое оздоровление Франции вместе с тем будет способствовать падению влияния Французской компартии. Поэтому правительственные чиновники США ожидали, что Юго-Восточноазиатский регион вновь станет продуктивным и начнет экспортировать, как это было до войны, рис и природные ресурсы и импортировать из Японии и Западной Европы готовую промышленную продукцию.

Такая “геополитическая” ситуация почти не оставляла социального пространства мыслителям типа Франка, которые старались быть рупором периферии и рассматривали конфликт Запада с Востоком только как дымовую завесу над реальным конфликтом Севера (включая страны “социалистического лагеря”) и Юга. Следствием этого стало идентифицирование интеллектуальных оппонентов как носителей неприемлемой идеологии, а соответственно — как политических “врагов”, что сделало невозможным продуктивное взаимопроникновение разных парадигм. Для многочисленных представителей первой стадии исследовательской программы модернизации сам процесс модернизации заключался преимущественно в бесконфликтной мобилизации населения с целью индустриализации, распространения образования, урбанизации, а главное, новых образцов ценностей, которые должны были сориентировать прежде пассивно настроенных крестьян стремиться к достижению новых ролей в системе координат современных социальных, экономических и политических институтов. В свою очередь, Франк рассматривал специфические общества с характерными для них институтами, ценностями и культурными образцами как эпифеномены, не стоящие исследовательского внимания, которое следовало сосредоточивать на гомогенной логике аккумуляции капитала в мировом масштабе и эксплуатации периферии метрополией. Для Франка все различия между социумами являются несущественными и растворяются в понятиях “эксплуатация”, “недоразвитие”, “кризис”, а начиная с 90-х годов прошлого

века — в мегакатегории “мировая система”, являющейся абстракцией такого уровня, что даже не предполагает дифференциации на отдельные стадии (будь то способы производства или дихотомия “традиция — модерн”). Поэтому для Франка дистинкция между “модерным” и “модернизирующимся” обществом (или метрополией и периферией, если воспользоваться собственно Франковой терминологией) состоит исключительно в количественном измерении находящегося в их распоряжении *богатства* (wealth).

Мы можем согласиться с Франком, что опыт западного модерна в целом и американского в частности полон противоречий и ни в коем случае не может восприниматься как реальный социальный эквивалент “благочестивого общества”, служащего образцом для “остального” (the Rest) мира. Но так же безосновательно отрицать универсальную значимость эмансипаторного потенциала проекта модерна в его западном воплощении, актуализированного в общественных практиках и институтах реальных обществ. Например, я считаю, что политические институты США накопили полезный опыт практик ограничения автономии государства обществом и обеспечения конкуренции между ветвями власти, что является предпосылкой эффективного функционирования механизма “сдерживаний и противовесов”. В то же время ни одно общество не является — и в принципе не может быть — полным воплощением *всех* измерений модерна. К примеру, США является одним из наиболее жестко стратифицированных среди “развитых” обществ с точки зрения расового неравенства. Впрочем, не стоит игнорировать тот факт, что именно видение социальных и политических структур благого общества американскими отцами-основателями (в формулировке Т. Джефферсона) вдохновляло Хо Ши Мина, когда он провозгласил создание независимой Демократической Республики Вьетнам: “...все люди созданы равными, все люди имеют право на жизнь, свободу и счастье” (цит. по: [Harrison, 1989: p. 96]).

Нам следует также осознавать, что в социологических науках существует связь между идеологическими предпочтениями и теоретизированием, приобретающая особую значимость в свете зафиксированного Дж. Александером феномена сверхсильной детерминации исследовательских программ теорией и сверхслабой — фактами. Полезно взглянуть на Франка сквозь призму франко-американского социолога Л. Вакана. Вакан категорически утверждает, что “в рамках всей городской системы уголовного правосудия (в США. — П.К.) формула “молодой человек + чернокожий + мужского пола” в данное время открыто приравнивается к “достаточному основанию”, которое оправдывает аресты, допросы, обыски и тюремное заключение миллионов афроамериканских мужчин ежегодно” [Waquant, 2002: p. 56]. Это высказывание претендует на фактологический / дескриптивный статус, хотя на самом деле сомнительно с точки зрения соответствия реальности. Очевидно, что *telos* аргументации Вакана заключается в противопоставлении реальной ситуации такой характеристике современного общества, как принцип универсальности, и, таким образом, преследует цель лишить США статуса современного социума и охарактеризовать эту страну в терминах общества-тюрьмы. Я не отрицаю существования — и даже задокументированной распространенности — так называемого *racial profiling*, то есть определения вероятности, с которой отдельных представителей конкретной расовой группы могут рассматривать в качестве подозрительных индивидов, а значит и потенциально подозреваемых в правонарушении, путем экстраполя-

ции на них показателей преступности в генеральной совокупности, которой в данном случае выступает расовая группа. Так, афроамериканец имеет 29-процентную вероятность оказаться в тюрьме в течение своей жизни по сравнению с 4-процентной для белых. Однако замечу, что практика использования расовой принадлежности как составляющей социального портрета вероятного преступника, несмотря на свою повседневную легитимность, совсем не является легальной в США. Следовательно, как в случае Вакана, так и в случае Франка мы можем утверждать, что их теоретизирование стало “жертвой” интеллектуальных ограничений, которые не в последнюю очередь накладывались и идеологическими границами, в развитии которых они сами активно участвовали.

Таким образом, в контексте моих рассуждений наиболее уместен взгляд на идеологию как на феномен, выполняющий несколько взаимосвязанных функций, самыми главными из которых являются интеграция, легитимация и *искажение* реальности. Вопрос состоит в относительной важности, приписываемой этим функциям: если для К.Гирца первичной является функция интеграции, воспроизводства и сохранения группы, то Франк берет на вооружение видение идеологии как ложного сознания, обвиняя своих оппонентов в ангажированности, и сам становится жертвой собственной интерпретации, которая привела к проникновению ценностей и *partisan agendas* в процесс познания и его деформации. То есть я аргументирую не в пользу деидеологизации, что невозможно в принципе, а предлагаю *учитывать* влияние оценок социальной реальности, связанных с идеологией, на формирование академического дискурса. Такой подход позволит исследователю осознать принципиальную партикулярность своего видения и его зависимость от ценностей и идеологии, а это, в свою очередь, открывает возможность синтетического теоретизирования. Восприятие идеологии сугубо как “ложного сознания” продуцирует конфликтный стиль теоретизирования, фундаментальными недостатками которого являются одномерность, редукционизм и неадекватные представления позиции оппонента. Классический пример этого — антиномичное понимание конфликта и порядка в мышлении Р.Дарендорфа, интеллектуальное развитие которого в течение последних пятнадцати лет его жизни происходило под “эгидой” Парсонсового стиля мышления; отсюда и непонятное с точки зрения конфликтной парадигмы внимание немецко-британского социолога к феномену гражданского общества, что свидетельствует о признании им как роли ценностей, так и первичности социальной интеграции. Примером же идеологизации и конфликтности мышления исследователя может служить пассаж одного из пламенных сторонников Франка, почти с религиозным пафосом обвиняющего идею развития в том, что она “всегда была жестоким европоцентрическим розыгрышем, замаскированным обманом и ловкой махинацией и выдавала себя за эликсир в цветистых ризах благочестия прогрессивного гуманистического универсализма” [Addo, 1996: p. 144].

Очевидно, что недостаточно ограничиваться констатированием факта неизбежности идеологии — то есть интересов (материальных и идеальных) — и эмоционально-иррационального стиля мышления, которые подрывают рациональность построений обществоведов, порой превращая их в ритуализированный миф или утопию. И хотя идея о линейном прогрессе логоса в ущерб мифу не менее утопична, нежели, к примеру, Марксово пред-

ставление о коммунистическом социуме, “борьба за разум” является одним из моральных императивов академического сообщества. В то же время следует осознать, что утопии могут приобретать различные формы и иметь диаметрально противоположное направление. В постсоветском пространстве на место утопии ленинских режимов пришла утопия неолиберализма.

Какова же альтернатива утопическому / идеологическому мышлению?

В эпохи радикальной реструктуризации общества и трансформации его ценностной сферы, то есть в ситуациях социального дисбаланса, инициировать и продвигать изменения могут группы, лишенные “материальных” ресурсов, однако обладающие ресурсами идеационными, то есть вовлеченные в процесс продуцирования идей. Идеи в целом и научные идеи в частности (формой существования последних являются исследовательские программы) не сводятся к ментальным состояниям, которые отражают интересы и “обслуживают” социальное действие, ориентированное на оптимизацию ресурсов. Социологические концепции и, шире, исследовательские программы подчиняются собственной динамике, обладающей избирательным средством с институциональной динамикой академического сообщества и общества в целом. Под этим углом зрения идеи мыслятся как элемент нормативной мотивации действия, служащие деятелям указателем и ориентиром. Следовательно идеи, в частности те из них, что воплотились в исследовательские программы, являются не только продуктом социальной интеракции — они являются формой социальной “акции”. Важность практического вклада идеативного измерения — как в виде теории, так и в форме нормативных ориентаций — в процесс развития и модернизации лучше всего подтверждается дебатами о “наличной стоимости азиатских ценностей” или о связи между идеями и мобильностью капитала в рамках Европейского Союза. “Идеационный поворот” отразился даже на исповедующих экономический функционализм, которые совершенствуют свою позицию, не столько выдвигая на первый план требование редуccionистской трактовки идей, сколько приоритетизируя интернализацию деятелями именно экономических парадигм посредством социологизированного толкования факторов развития и модернизации общества.

Итак, в свете приведенных выше рассуждений можно сделать определенные выводы. Ученым не следует недооценивать потенциальную степень влияния на общество “власти интеллектуалов”. Я не разделяю в полной мере идею Гоулднера об интеллектуалах как чуть ли не единственных хранителях критического и рационального мышления. В то же время интеллектуалы могут бороться не только за культуру, но и за разум, используя Маккиавеллиево-Веберову идею трезвой рассудительности и ироничное отношение к социальной реальности в духе возрожденного И.Селеньи Сократового скепсиса (см.: [Eyal, Szelenyi, Townsley, 2003]).

Источники

Гобсбаум Е. Вік екстремізму. Коротка історія XX віку / Гобсбаум Е. — К. : Альтернативи, 2001.

Ледовский А.М. СССР и Сталин в судьбах Китая. Документы и свидетельства участника событий: 1937–1952 / Ледовский А.М. — М. : Памятники исторической мысли, 1999.

Addo H. Developmentalism / H. Addo // The Underdevelopment of Development / ed. by S.C. Chew, R.A. Denmark. — L. : Sage, 1996.

Arnason J.P. Entangled Communisms: Imperial Revolutions in Russia and China / J.P. Arnason // European Journal of Social Revolution. — 2003. — Vol. 6, № 3. — P. 307–325.

Camic C. Reputation and Predecessor Selection: Parsons and the Institutionalists / C. Camic // American Sociological Review. — 1992. — Vol. 57, № 4. — P. 421–445.

Eyal G. On Irony: An Invitation to Neo-Classical Sociology / G. Eyal, I. Szelenyi, E. Townsley // Thesis 11. — 2003. — № 73. — P. 1–37.

Geertz C. The Interpretation of Cultures: Selected Essays / Geertz C. — N. Y. : Basic Books, 1973.

Harrison J.P. Endless War: Vietnamese Struggle for Independence / Harrison J.P. — N. Y. : Columbia University Press, 1989.

Kumar K. Sociology and the Englishness of English Social Theory / K. Kumar // Sociological Theory. — 2001. — Vol. 19, № 1. — P. 41–64.

Waquant L. From Slavery to Mass Incarceration: Rethinking the “race question” in the US / L. Waquant // New Left Review. — 2002. — № 13.

Wallerstein I. The Twentieth Century: Darkness at Noon? / I. Wallerstein // The Modern / Colonial / Capitalist World_System in the Twentieth Century: Global Processes, Anti-systemic Movements, and the Geopolitics of Knowledge / ed. by R. Grosfoguel, A.M. Cervantes-Rodriguez. — Westport ; L. : Greenwood Press, 2002.